

Василий Авсеенко

Школьные годы



Василий Григорьевич Авсеенко

Школьные годы (в современной орфографии)

«Пропускаю впечатления моего раннего детства, хотя из них очень многое сохранилось в моей памяти. Пропускаю их потому, что они касаются моего собственного внутреннего мира и моей семьи, и не могут заинтересовать читателя. В этих беглых набросках я имею намерение как можно менее заниматься своей личной судьбой, и представить вниманию публики лишь то, чему мне привелось быть свидетелем, что заключает в себе интерес помимо моего личного участия...»

**Василий Григорьевич
Авсеенко
Школьные годы**

Отрывки из воспоминаний 1852-1863

Пропускаю впечатления моего раннего детства, хотя из них очень многое сохранилось в моей памяти. Пропускаю их потому, что они касаются моего собственного внутреннего мира и моей семьи, и не могут интересовать читателя. В этих беглых набросках я имею намерение как можно менее заниматься своей личной судьбой, и представить вниманию публики лишь то, чему мне привелось быть свидетелем, что заключает в себе интерес помимо моего личного участия.

В августе 1852 года, меня отдали в первую петербургскую гимназию. Преобразованная из бывшего благородного пансиона при петербургском университете, она оставалась закрытым заведением и в некоторых отношениях сохраняла еще прежний характер привилегированной школы. В нее принимались только дети потомственных дворян, в обстановке воспитания замечалось стремление к чему то более порядочному, чем в других гим-

назических пансионах; кажется и плата за воспитанников в ней была положена значительно высшая.

Я был недурно подготовлен дома, и кроме того доступ в учебные заведения тогда был очень легок. Начальство находило нужным так сказать заманивать учеников, во всяком случае встречало их с распростертыми объятиями. Меня проэкзаменовали шутя и предложили принять во второй класс; но отец мой, большой любитель порядка и последовательности, предпочел поместить меня в первый класс – чтоб уж непременно с начала до конца, систематически, пройти весь курс.

Выросший дома, среди соответствовавшей возрасту свободы, я с большим трудом входил в условия пансионской жизни. Меня стесняла не дисциплина этой жизни, а невозможность остаться хотя на минуту одному с самим собою. Дома я привык читать; в гимназии это было почти немислимо. Иметь свои книги не разрешалось, а из казенной библиотеки давали нечто совсем несообразное – в роде например допотопного путешествия Дюмон-Дюрвиля, да и то очень неохотно, как бы только во

исполнение воли высшего начальства. Библиотекой заведовал инспектор, Василий Степанович Бардовский – человек, обладавший замечательной способностью «идти наравне с веком», только в самом невыгодном смысле. Мне говорили, что в 60-х годах, будучи уже директором, он страшно распустил гимназию, что и было причиной нареканий на это заведение; но в мое время он обнаруживал во всей неприкосновенности закал педагога-бурсака, и разделял все увлечения тогдашнего обскурантизма. Розга в четырех младших классах царствовала неограниченно, и лишь немногие из моих товарищей избегли вместе со мною знакомства с этим спорным орудием воспитания. Секли, главным образом, за единицы. Каждую пятницу вечером дежурный гувернер выписывал из журналов всех получивших на неделе единицы или нули, а каждую субботу, на первом уроке, Василий Степанович являлся в класс и кивком головы вызывал попавших в черный список. Товарищи провожали их умиленными глазами... Надо впрочем сказать, что учиться было не тяжело, и избегать единиц не представляло больших

трудностей.

Забота о развитии молодого ума, о воспитании благородных инстинктов, как-то не вяжется с розгой. И действительно, о таких вещах заботились мало. О жалком составе гувернеров я скажу дальше; сам инспектор, дух и руку которого мы ощущали ежеминутно, хлопотал только о водворении порядка и страха и об искоренении свободомыслия. Поощрять охоту к чтению, к труду не по указке, не входило в его программу, и на просьбу о выдаче книги из библиотеки большинство учеников получало неизменный, иногда оскорбительный отказ. «Занимайся лучше уроками! единицы имеешь! Да, так-с!» отвечал обыкновенно Василий Степанович, повертывая между пальцами серебряную табакерку. «Да, так-с» прекращало всякие разговоры. Не знаю, сам ли инспектор руководил покупкою книг для библиотеки, но помню что состав ее был удивительный. Она помещалась в приемной комнате, и бывая там я усердно разглядывал надписи на корешках книг, но постоянно видел одни и те же «Сочинения Нахимова». С тех пор я долго не мог от-

делаться от представления о Нахимове, как о величайшем русском писателе... Достать книгу по собственному желанию было невозможно. Помню, что я долго искал, как клада, том лирических стихотворений Пушкина. В то время Пушкина не было в продаже: смирдинское издание (плохое, неполное, на серой бумаге) уже исчерпалось, а анненковское еще не появилось; в моей домашней библиотеке недоставало почему-то одного тома, с мелкими лирическими пьесами, и я знал некоторые из них только по хрестоматии Галахова. Пробел этот просто мучил меня, и я несколько раз, рискуя навлечь на себя гнев В. С-ча, приставал к нему с просьбой выдать мне из библиотеки этот заколдованный том; но инспектор, находя такое стремление к поэзии предосудительным, отказывал наотрез. Уже года через два, учитель русского языка Сергеев – не блестящая, но добрейшая, славная личность – выхлопотал Пушкина для себя, и под величайшим секретом передал его на один день мне. Это был, может быть, один из счастливейших дней моего детства.

Литературные взгляды начальства выра-

жались между прочим в выборе книг, раздаваемых в награду лучшим ученикам при переходе из одного класса в другой. Мне раз дали какой-то «Детский театр», состоящий из малограмотных переводных комедий, в другой раз «Очерк похода Наполеона I против Пруссии в 1806 году», в третий один том словаря Рейфа, и т.д.

Но самую печальную сторону управления В. С-ча составляла его склонность примешивать к педагогическому делу политический элемент. Эта была, впрочем, общая черта времени. Воспитательные заведения чрезвычайно узко понимали задачу искоренения в молодых умах зловредных идей. Могу удостоверить, что ни у кого из моих товарищей никаких зловредных идей не было; напротив, в эпоху крымской войны, патриотическое воодушевление обнаружилось весьма сильно, и многие из воспитанников нашей гимназии прямо со школьной скамьи отправились умирать на дымящихся бастионах Севастополя. Тем не менее, мы все постоянно чувствовали себя под каким то тягостным давлением политической подозрительности. Обыкновен-

ные детские шалости, может быть и предосудительные, но объясняемые условиями закрытого воспитания, духом товарищества, нередко рассматривались именно с этой подозрительной quasi-политической стороны. Припоминаю случай лично со мной. Подружившись с одним из товарищей, я в рекреационные часы часто ходил с ним по коридору, и наши разговоры казались нам занимательнее обычных игр в общей зале. Но губернатор Б-ни, усвоивший себе инквизиторские воззрения на самые обыкновенные вещи, запретил нам оставаться вдвоем, объяснив откровенно, что подозревает нашу политическую благонадежность, и что наше отдаление от товарищей вызывает в его воображении классические фигуры Брута и Кассия... Привожу этот неважный случай, чтоб показать до какой степени односторонне и несвободно относились тогдашние педагоги к этой несомненно важной задаче общественного воспитания. Надо прибавить, что искание политической подкладки в незначительных явлениях, вытекающих прямо из условий пансионской жизни, приводило к результатам почти

противоположным: мы чуть не с десятилетнего возраста получали неестественный интерес к политическим вопросам, и конечно гораздо больше толковали о них, чем нынешние мальчишки. Но, повторяю, относиться враждебно к основам нашего государственного быта никому из нас и в голову не приходило. Так называемое свободомыслие скорее направлялось в сферу религиозную – явление, как известно, общее тогда всем закрытым учебным заведениям.

Я был бы очень рад сказать чтонибудь лучшее о покойном В С-че. Лично я находился с ним в самых благополучных отношениях, и кажется даже пользовался особым его расположением. Я думаю, что это был вовсе не злой и не дурной, а только очень обыкновенный человек, всегда подчинявшийся малейшему давлению сверху и не выработавший в свою долговременную практику никакого собственного взгляда. В первой половине 50-х годов, сверху требовали строгости, допускали и жестокость; В. С-ч не только удовлетворял этому требованию, но и сам несомненно разделял понятия и взгляды господствовавшего

в то время обскурантизма. Для него, человека ординарного, это было тем извинительнее, что при пассивной роли директора, на нем лежали весь труд и вся ответственность. К чести его здесь необходимо прибавить, что при всей практиковавшейся в гимназии строгости, у нас почти совсем не прибегали к исключению воспитанников. Тогдашние учебные заведения вообще держались правила, что дети даны им счетом, и счетом должны быть возвращены родителям и обществу. За все четыре года моего нахождения в первой гимназии, я знаю только один случай изгнания воспитанника из стен заведения – именно некоего Ч., пойманного *en flagrant délit* в проступке положительно безнравственном.

Директором гимназии при мне был Викентий Васильевич Игнатович. Кажется он был хорошо образованный человек, но мы видали его чрезвычайно редко, и навряд ли он принимал деятельное участие в делах заведения. Толстый, благодушный, с очень благообразным и умным лицом, он производил впечатление приятного барина, неохотника до черной работы. Он любил впрочем показать, что

занимался специально историей, иногда заходил на уроки г. Лыткина и сам спрашивал учеников, именно тех, которые желали поправить перед субботой полученную на неделе единицу. Но всего превосходнее он был в смысле декоративном: такого директора можно было выставить куда угодно. Помню его как сейчас в двух торжественных случаях. В марте 1855 года гимназия праздновала свой 25-летний юбилей. Были министр народного просвещения А.С. Норов и попечитель округа. Воспитанникам дали завтрак, с бокалами какого-то похожего на шампанское напитка. В.В. Игнатович, в мундире и во всех регалиях, был представителем до помрачения; он решительно затмевал весь сановный персонал, посетивший нашу столовую, и когда он, обратясь с поднятым бокалом к министру, произнес несколько кратких слов, упомянув в них и о каком-то ордене, «незадолго перед сим украсившем вашу достойную грудь» – то все, даже самые маленькие между нами, почувствовали как это хорошо было сказано... В другой раз припоминается мне почтенный В.В. Игнатович, как он, в разгаре восточной

войны, вошел раз к нам в репетиционную залу, и поздоровавшись необычайно ласково с учениками, провозгласил: «Дети, любите ли вы Россию?» Мы отвечали что любим. Тогда директор, указав на производящийся повсеместно сбор пожертвований на военные нужды, пригласил нас открыть между собою подписку. Мы отозвались с полной готовностью.

Я не могу судить, насколько вообще деятельность В.В. Игнатовича была плодотворна для гимназии, но должен сказать, что это был несомненно умный и добрый человек, и что наверное ни один из его воспитанников не имел с ним неприятного столкновения и не сохранил к нему враждебного чувства. Если нельзя утверждать, чтоб у нас выразилась серьезная любовь к нему, то только потому, что мы мало его видели.

Не знаю, насколько следует приписать вине директора неудачный выбор своих помощников по воспитательной части, но надо сознаться, что состав гувернеров был из рук вон плох. Все это были иностранцы – в расчете на практику в новых языках – и почти поголовно люди без всякого образования. Крайним

невежеством поражали в особенности французы. Один из них, бывший барабанщик великой армии, раненый казацкою пикой, преподавал в первом классе французский язык и не мог поправлять ошибок в диктовке, не заглядывая в книгу. Другой был до того стар, что почти не стоял на ногах; третий, совсем глупый и безнравственный человек, решительно не годился к педагогическому делу. Надо впрочем сказать, что французы были все очень добрые люди и мы с ними отлично уживались; зато удивительным злопамятством и тупым педантизмом отличались немцы. Это были наши присные враги, с которыми мы вели непрерывную войну... Не знаю, к какой национальности принадлежал упомянутый выше Б-ни; фамилия у него была итальянская, но он отлично говорил по-русски, а по характеру напоминал австрийского полицианта меттерниховских времен. Надо было изумляться ловкости, с какою он накрывал шалунов, и доходящей до благородства горячности, с какою он умел самый пустой случай раздуть до степени чуть не политического дела. Австрийский чиновник, обрусевший в то-

гдашнем Петербурге и совместивший в себе оба букета, бывал иногда истинным виртуозом своего дела.

* * *

Время, в которое я поступил в гимназию – считается переходным в истории наших средних учебных заведений. Классическая система, водворенная гр. Уваровым, в конце 40-х годов была заподозрена и нарушена. Греческий язык сохранился только в некоторых гимназиях, предназначенных готовить учеников в поступлению на историко-филологические факультеты, преподавание латинского решено начинать только с четвертого класса; взамен того введено с первого класса преподавание естествознания и увеличено число уроков по математике. Приготавливающие себя к поступлению прямо из гимназии на государственную службу обязывались слушать законоведение. Этот новый учебный план вводился с 1852 года, т.е. как раз со времени моего поступления. Со стороны теоретической, реформа очевидно не выдерживала ни малейшей критики и была ничем иным, как делом бюрократического невежества. Тем

не менее, припоминая свои школьные годы, я не могу не сказать, что у нас учились недурно, и что получаемое нами образование достигало важнейшей цели – давало ученикам и умственное развитие, и охоту к дальнейшему научному труду. Без сомнения, этим благоприятным результатом гимназия была обязана не программам, представлявшим нелепый винигрет каких-то клочков и обрывков, а выдающемуся таланту некоторых преподавателей и хорошему составу учеников.

Преподаватели были разные, молодые и старые, годные и негодные; но все они были гуманные, в большинстве очень симпатичные люди, и я не сомневаюсь, что из моих товарищей никто не сохранил ни к одному из них никакого недоброго чувства. Они стояли решительно вне общего направления и скорее сами подвергались его давлению, чем давили нас. Иначе, впрочем, и быть не могло. Образованные люди тогда еще глядели на вещи одинаково, и не было той розни, которая в настоящее время разделяет и разъедает наши культурные силы. Университетская наука заключала в себе подразумеваемый протест

против духа реакции, царившего вне ее. Наши учителя были по большей части люди 40-х годов, вынесшие из стен университетов те гуманные идеи, которыми впоследствии характеризовали целое поколение. Я припоминаю, что мы еще в низших классах понимали этих людей, и что никогда в наших отношениях к ним, в наших подчас очень глупых шалостях, не обнаруживалось ничего оскорбительного для них. Устраивая разные, иногда очень дерзкие неприятности гувернерам, эконому, учителям-иностранцам, мы всегда относились с безусловным и весьма замечательным уважением к русским учителям, в которых чувствовали людей иного, лучшего склада.

В почтенном персонале наших преподавателей первое место занимал Василий Иванович Водовозов. Я пользовался его уроками только один год, но мог вполне оценить и его дарования, и его в высшей степени достойную уважения личность. Трудлюбивый, серьезный, искренно любящий свое дело, искренно убежденный, что на скромном посту учителя русской словесности ему возможно

принести много несомненной пользы, он отдавался своим обязанностям если не с увлечением, то с горячим личным интересом, который передавался ученикам. Характер его преподавания был чисто практический: мы писали сочинения на заданные темы, потом эти сочинения разделялись между нами для грамматического и критического разбора, так что мы должны были находить друг у друга ошибки, неверные или неудачно выраженные мысли и т.д. Потом и сочинения, и замечания на них, читались в классе в присутствии учителя, который и являлся судьей авторских пререканий, судьей неизменно дельным, строгим и беспристрастным. В другие часы мы занимались церковно-славянской грамматикой, чтением классических произведений русской и иностранной (в поэтических переводах) литературы, сопровождавшимся беседами под руководством Василия Ивановича и т.д. В трех старших классах устраивались кроме того литературные вечера, на которых лучшие воспитанники прочитывали в присутствии педагогического совета сочинения более значительного объема и

лучше обработанные, чем классные упражнения. Благодаря такому характеру преподавания, русская словесность была для нас всех самым любимым предметом, и мы ждали урока Василия Ивановича, как праздника. Почтенный преподаватель был без сомнения душою всего учебного дела; он более всех заставлял нас понимать привлекательную сторону умственного труда, более всех сделал для нашего воспитания. Правда, материал с которым пришлось иметь дело В.И. Водовозову, был очень благодарный. Отчасти вследствие несколько исключительного положения нашей гимназии, в которую принимались только дети из самого образованного в России сословия, получавшие уже в своих семействах более или менее развитые культурные инстинкты, отчасти вследствие традиций заведения, где русская словесность всегда составляла как бы центр преподавания, отчасти наконец благодаря общим условиям и общему направлению времени – между нами, начиная с самых младших классов, всегда находилось не мало очень умных и даровитых мальчиков, с ранним и определенным распо-

ложением к литературному труду, а еще более таких, которые, не обнаруживая выдающегося личного дарования, тем не менее до крайности любили все относящееся до литературы, и своим сочувствием поддерживали более даровитых товарищей. Большинство из нас не только училось в исполнение долга, но испытывало потребность сделать нечто большее, заглянуть повыше казенной черты, войти в живую связь с теми, кто знал больше нас, кто мыслил лучше нас; существовало несомненно какое-то особое веяние, сообщавшее нашим школьным годам трудно-определяемую привлекательность. Многие между моими товарищами очень рано обнаружили серьезное литературное дарование. Из воспитанников, с которыми мне привелось особенно сблизиться, назову В.В. Крестовского, как приобретшего впоследствии наиболее громкое литературное имя. Он был на два класса старше меня, но одинаковые вкусы, одинаковая потребность искать чего-то за казенной чертой пансионного воспитания, а всего более редкие личные свойства симпатичной натуры Крестовского, сблизили нас так тесно,

что завязавшаяся в гимназических стенах дружба осталась для нас обоим одною из самых серьезных привязанностей. Романтик по природе, Крестовский еще в младших классах отличался самыми резкими антипатиями к безобразиям нашего пансионского быта и потребностью создать среди этого быта свою собственную жизнь; он еще мальчиком писал красивые, звучные стихи, и в гимназической куртке волновался всеми интересами, занимавшими тогдашнюю, еще очень тесную семью культурных людей.

Несомненное поэтическое дарование обнаруживал другой мой товарищ, Аполлон Кусков, брат известного впоследствии поэта, переводчика Шекспира. Сам он, кажется, никогда ничего не печатал; я рано потерял его из виду, и не знаю какие причины помешали развиться его таланту, обещавшему очень много. Он прекрасно владел также карандашом и красками и несомненно мог сделать заметную артистическую карьеру. Известно, впрочем, что никто так часто не обманывает ожиданий, как многообещающие русские мальчики.

Я не могу не вспомнить здесь также одного из очень даровитых моих товарищей, Куницкого. Он умер кажется еще до окончания курса гимназии. Бойкий, деятельный, с большим воображением и с сатирическим, язвительным складом ума, он весь был предан двум страстям – к театру и ко всему французскому. Об его способностях можно судить по тому факту, что когда он был гимназистом третьего и четвертого класса, книгопродавец Вольф охотно покупал для издания составляемые им детские книги, преимущественно пьесы для детского театра. Может быть гимназистам и не следует сочинять книги, но во всяком случае факт этот, мне кажется, свидетельствует не против заведения, к которому принадлежал Куницкий... Страсть его к театру, и особенно к французскому, не знала границ. По средам или по четвергам – не помню какие тогда были абонементные дни – он почти всегда ухитрялся непостижимыми путями отпроситься домой, и заседал в Михайловском театре, несмотря на строгость полицейского и педагогического надзора. В четвертом классе он был редактором рукописного жур-

нала, бесконечно нас интересовавшего. Начальство знало о существовании этого журнала, но находя его занимательным даже для себя, смотрело сквозь пальцы...

При таком составе учеников, учителям, умевшим не вооружать нас против себя, не трудно было вести свое дело. Не все, конечно, обладали теми же способностями и таким же серьезным отношением к своим обязанностям, как В.И. Водовозов; но замечательно, что у нас учились хорошо даже у преподавателей, так сказать, «невозможных» с нынешней точки зрения. Так было, например, с латинским языком. Преподаватель этого предмета, З-он, был удивительнейший чудак. Недурной знаток своего предмета и человек подчас очень взыскательный, он с этою взыскательностью соединял что-то бесконечно распущенное и шутовское. У него была страсть к скабрёзным анекдотам, и он требовал, чтоб к каждому уроку один из воспитанников приготовил такой анекдот, но непременно им самим сочиненный, и остроумный. Как только войдет З-он в класс, один из нас тотчас выходит к доске и начинает рассказ...

Если анекдот недурен, З-он хохочет, мы тоже; если не понравится – скажет: «ну, это глупо» – и непременно будет гораздо строже ставить балы. Казалось бы, такой учитель должен был иметь самое разлагающее влияние. на мальчиков, а на поверку выходило, что из латинского языка большинство училось очень недурно, и притом я никогда ни от кого из товарищей не слышал, чтоб этот предмет считался трудным.

Другой учитель, Л-он, старик, преподававший географию, любил сам рассказывать анекдоты, и по большей части не совсем приличные. В таких рассказах сплошь и рядом проходил целый урок.

* * *

В 1855 году, с моим отцом приключился удар. Чрезвычайно крепкий от природы, регулярный во всех своих привычках, он расстроил здоровье чрезмерным трудом. После удара от него потребовали не только оставления службы, но и переезда в теплый климат. По этой причине мы в 1856 году переехали в Киев, и я перевелся в киевскую первую гимназию.

Три года, проведенные в этом заведении, принадлежат к самым скучным годам моей жизни. Мне было очень трудно привыкнуть к совершенно иному тону, царившему в провинциальной гимназии. По составу преподавателей она считалась лучшею в округе, и в этом отношении перемена была не особенно чувствительна. Но совсем другим характером отличался состав воспитанников. На них на всех лежала тусклая печать провинциальности, тот серый, подавляющий колорит обывательской ординарности, с которым мне впервые приходилось знакомиться. Артистическая даровитость, отличавшая моих петербургских товарищей, значительный уровень их умственного развития, их раннее, может быть даже слишком преждевременное, знакомство с интересами значительно высшего порядка – ничего этого в киевской гимназии я не встретил.

Единственным отрадным воспоминанием за эти три года я обязан покойному учителю русской словесности, А.П. Иноземцеву. Это была очень даровитая личность, к сожалению рано унесенная смертью. Отличный зна-

ток русского языка, человек с правильным и тонким литературным вкусом, А. П-ч был совсем не на месте в гимназии, где воспитанники состояли из поляков и малороссов, не только не умеющих правильно говорить по-русски, но даже неспособных отделаться от не русского акцента. Бывало он чуть не плакал с досады, когда, например, ученик скажет: «помочу перо», и в целом классе не найдется ни одного, кто бы мог его поправить. Мне сдается, что самая смерть Иноземцева – от разлития желчи – была подготовлена скукой провинциального прозябания и возни с поголовною добропорядочною бездарностью. Ю.Э. Янсон, заступивший его место, человек очень образованный и талантливый, но еще очень молодой, не догадался принять в расчет умственный уровень учеников, но скоро убедился, что класс только хлопает на него глазами – и тоже огорчился. Впрочем, это случалось с каждым учителем, который пытался хоть чуточку приподнять уровень преподавания. Мне было очень скучно, я учился гораздо хуже чем в Петербурге, и хотя окончил курс хорошо, но без медали.

В университет я поступил в сентябре 1859 года. В то время историко-филологический факультет в Киеве считался блистательным. Его украшали В.Я. Шульгин, П.В. Павлов, Н.Х. Бунге; число студентов на нем было очень значительно, благодаря главным образом тому, что в киевском университете вообще было много поляков, сыновей местных помещиков, а польское дворянство всегда отличалось склонностью к словесным наукам.

Я не намерен останавливаться на своих личных впечатлениях, у всякого очень свежих и памятных за эту пору первой зрелости, первых серьезных дум, первых забот и наслаждений. Я хочу только набросать силуэты профессоров и отметить особенные черты, отличавшие университетскую жизнь в знаменательное для края и для всего русского общества время 1859-1863 годов.

Начну с печального сознания, что печать провинциальности лежала на университете в той же мере как и на гимназии. Она выражалась и в отсутствии людей с широкими взглядами, и в слабой связи большинства profes-

соров с литературными и общественными интересами, занимавшими Петербург, и в подавляющем преобладании «обывательских ординарностей», и во множестве мелочей – в запоздалом появлении какойнибудь книги, в разнузданности сплетни, принимавшей тотчас самый уездный характер, в старомодном слоге и в невероятном акценте большинства профессоров. Историко-филологический факультет был значительно лучше юридического и математического, но я думаю что и на этом факультете только двое могли назваться действительно талантливыми тружениками науки – В.Я. Шульгин и Н.Х. Бунге.

Виталий Яковлевич Шульгин считался светилом университета. И в самом деле, такие даровитые личности встречаются не часто; по крайней мере в Киеве он был головою выше не только университетского, но и всего образованного городского общества, и едва ли не один обладал широкими взглядами, стоявшими над чертой провинциального мирозерцания. Самая наружность его была очень оригинальная; с горбами спереди и сзади, с лицом столько же некрасивым по чертам,

сколько привлекательным по умному, язвительному выражению, он производил сразу очень сильное впечатление. Я думаю, что физическая уродливость имела влияние на образование его ума и характера, рано обратив его мысли в серьезную сторону и сообщив его натуре чрезвычайную нервную и сердечную впечатлительность, а его уму – склонность к сарказму, к желчи, подчас очень ядовитой и для него самого, и для тех на кого обращалось его раздражение. Последнее обстоятельство было причиной, что и в университетском муравейнике, и в городском обществе, у Шульгина было не мало врагов; но можно сказать с уверенностью, что все более порядочное, более умное и честное, неизменно стояло на его стороне. Надо заметить притом, что при своей склонности к сарказму, при своем большею частью язвительном разговоре, Шульгин обладал очень горячим, любящим сердцем, способным к глубокой привязанности, и вообще был человек очень добрый, всегда готовый на помощь и услугу.

Как профессор, Шульгин обладал огромными дарованиями. Не решаюсь сказать, чтоб

он был глубокий ученый в тесном смысле слова, но никто лучше его не мог справиться с громадною литературой предмета, никто лучше его не умел руководить молодыми людьми, приступающими к специальным занятиям по всеобщей истории. Критические способности его изумляли меня. В мою бытность студентом, он читал, между прочим, библиографию древней истории. Эти лекции могли назваться в полном смысле образцовыми. С необычайною краткостью и ясностью, с удивительной, чисто-художественной силою определений и характеристик, он знакомил слушателей со всей литературой предмета, давая одним руководящую нить для их занятий, другим восполняя недостаток их собственной начитанности. Притом он в замечательной мере обладал даром слова. Его речь, серьезная, сильная, изящная, не лишенная художественных оттенков, лилась с замечательною легкостью, и ни в одной аудитории я никогда не видел такого напряженного всеобщего внимания. Но в особенности дар слова Шульгина обнаружился на его публичных чтениях по истории французской революции.

Возможность раздвинуть рамки предмета и высокий интерес самого предмета, при отсутствии тех условий, которые неизбежно вносят в университетское преподавание некоторую академическую сухость – все это позволило талантливому профессору довести свои чтения, по содержанию и по форме, до такого блеска, что даже пестрая, на половину дамская, аудитория не могла не испытывать артистического наслаждения.

Мои личные отношения к покойному Виталию Яковлевичу были настолько близки и продолжительны, что я имел случай видеть и оценить его и как профессора, и как редактора «Киевлянина», и как члена общества, и как человека в его домашней обстановке. Везде он обнаруживал тот же серьезный и вместе блестящий ум, тот же живой интерес ко всему честному, человеческому, то же открытое, горячо-бьющееся сердце, ту же неутомляющуюся потребность деятельности. Роль его как публициста, создавшего первый в России серьезный провинциальный орган, сразу поставленный на высоту отвечающую затруднительным политическим обстоятельствам

края – достаточно известна; но она уже выходит из пределов моих «школьных лет», и я может быть коснусь ее в другой раз и в другом месте. Теперь, возвращаясь к университетской деятельности Шульгина, я должен прибавить, что его преподавание отличалось одною весьма важною особенностью: он считал своею обязанностью помогать занятиям студентов не одним только чтением лекций, но и непосредственным руководством тех из них, которые избирали всеобщую историю предметом своей специальности. У него у первого явилась мысль устроить нечто в роде семинария, на подобие существующих в немецких университетах и в парижской Ecole Normale; эту мысль разделял также Н.Х. Бунге, которому и привелось осуществить ее на деле; Шульгин же, к величайшей потере для университета, в 1861 году вышел в отставку. Тем не менее у себя дома, в ограниченных, конечно, размерах, он был настоящим руководителем исторического семинария, и его беседы, его советы, его всегдашняя готовность снабдить всякого желающего книгой из своей прекрасной библиотеки – без сомнения па-

мятны всем моим товарищам. Виталий Яковлевич считал как бы своим нравственным и служебным долгом создать себе преемника из среды собственных слушателей, и, действительно, покидая университет, имел возможность представить совету двух студентов, посвятивших себя специальным занятиям по всеобщей истории.

Причины, побудившие Виталия Яковлевича рано оставить университет, заключались отчасти в тяжелых семейных утратах, расстроивших его донельзя впечатлительную и привязчивую натуру, отчасти в неприятностях, сопровождавших его профессорскую деятельность. Привлекая к себе всех более даровитых членов университетской корпорации, Шульгин не пользовался расположением других сотоварищей, и не умел относиться к этому обстоятельству с достаточным равнодушием. Ему хотелось отдохнуть.

Спустя два года, громадный успех предпринятых им публичных чтений о французской революции заставил членов университетского совета догадаться, что если причиною выхода Шульгина и было расстроенное состоя-

ние здоровья, то причина эта во всяком случае уже устранена. Потеря, понесенная университетом с отставкою даровитейшего из его профессоров, была так чувствительна, надежды на замену было так мало, что между бывшими сослуживцами Виталия Яковлевича началось движение, делавшее им во всяком случае большую честь. Стали думать, каким образом вернуть университету того, кто был душою и светилом его. Затруднений, разумеется, встретилось много. Тогда уже действовал новый устав, требовавший от профессора степени доктора. Шульгин не имел этой степени, и следовательно мог быть определен только доцентом, с ничтожным жалованьем. На такие условия он не соглашался. Тогда ухватились за параграф устава, которым университету предоставлялось право возводить в степень доктора лиц, известных своими учеными трудами. Вопрос баллотировали, получилось большинство, представили министру народного просвещения об утверждении Шульгина в докторском звании и о назначении его ординарным профессором. Министр (г. Головин) прислал Виталию Яковлевичу

докторский диплом, при очень любезном письме. Но к сожалению, во всю эту, наделавшую в свое время много шуму, историю, вошли обстоятельства, побудившие Шульгина отказаться и от диплома, и от назначения.

Как раз в это время разыгралось польское восстание. События расшевелили местную администрацию, от нее потребовали более живой, осмысленной деятельности. В перспективе имелись организаторские меры, долженствовавшие совершенно пересоздать местную жизнь; почувствовалась вместе с тем потребность в политическом органе, который служил бы делу пересоздания, явился бы истолкователем новой правительственной программы, будил бы русские элементы в крае. Так возник «Киевлянин». Виталий Яковлевич первый откликнулся новому движению, горячо принял программу обновления местной жизни, и распроставшись окончательно с идеей вновь вступить в университет, отдался всей душой, со всею свойственной ему неутомимостью, деятельности провинциального публициста.

Кафедру всеобщей истории разделял с

Шульгиным профессор Алексей Иванович Ставровский. Это был совершенный антипод Виталия Яковлевича, и как следует антиподу, очень его недолюбливал. Семинарист и потом воспитанник бывшего главного педагогического института, он получил степень магистра всеобщей истории за диссертацию под заглавием: «О значении средних веков в рассуждении к новейшему времени». Говорят, покойный Грановский, когда хотел потешить своих друзей, извлекал из особого ящика эту удивительнейшую книжицу и прочитывал из нее избранные места. В университетской библиотеке мне удалось видеть экземпляр этого творения; помню, что в нем между прочим говорилось что-то такое о происхождении портупей и темляков... Во все мое студенчество я не более трех раз посетил лекции Ставровского и очень затрудняюсь определить, как и что он читал; товарищи рассказывали о них, как о винегрете каких-то выдохшихся анекдотов, собранных в книгах прошлого столетия. Но я знаю, что не довольствуясь курсом всеобщей истории, Ставровский читал нам еще науку, по собственным его словам

им самим изобретенную, именно «теорию истории». Под таким заглавием она красовалась и в печатном расписании факультетских чтений. Я был на первой лекции этой *scienza nuova*; профессор совершенно ошеломил меня живописностью метафор – то он сравнивал историю с голой женщиной под прозрачною дымкой, сквозь которую, т.е. дымку, проникает пытливый взор историка, то строил какую-то необычайно сложную машину, на подобие шарманки, объясняя пораженным слушателям, что вал означает человечество, зубцы, за которые он задевает – события, а рукоятка, которая его вращает – уж не помню что, чуть ли не самого профессора. От дальнейшего слушания «теории истории» я уклонился. Нужно, впрочем, заметить, что слушателями Ставровского могли быть лишь люди не только не дорожащие временем, но и обладающие крепкими нервами. Последнее условие требовалось в виду того, что во всех иностранных словах и именах профессор произносил *e* как русское *рз*; и выговаривал Ментенон, ренесанс, и пр. В большом количестве это выходило нестерпимо, и студенты уверя-

ли меня, что однажды генерал-губернатор князь Васильчиков, присутствуя на университетском акте и слушая, как Ставровский перечислял в своей речи заглавия французских книг, почувствовал себя настолько дурно, что в следующие годы, получая приглашение на акт, всегда спрашивал ректора: «а не будет ли профессор Ставровский произносить французские слова?»

Решительно не могу припомнить, как мы держали экзамен из «теории истории». Сдается мне, что факультет вовсе уволил нас от этой непосильной задачи. Зато очень хорошо помню, что оставшись по выходе Шульгина единственным представителем всеобщей, а по выходе П.В. Павлова, также и русской истории в университете, Ставровский задавал для семестральных сочинений очень удивительные темы. К сожалению, не могу привести их здесь в точности, но знаю, что когда я раз в шутку сказал товарищам, будто Ставровский задал сочинение: «о пользе Европы» – никто не подумал, что я говорю в шутку.

Так как я был рекомендован совету Шульгиным, то нерасположение Ставровского в

последнему перенеслось и на меня, и я очень хорошо понимал, что на окончательных экзаменах он не будет ко мне снисходителен. Может быть им руководило и другое соображение, чисто практического свойства: он дослуживал срок и должен был баллотироваться на добавочное пятилетие. Если бы в тому времени явился кандидат на кафедру всеобщей истории, шансы быть избранным для него очень сошлись бы; и напротив, при торжественном провале рекомендованного кандидата, факультет принужден был бы хлопотать об оставлении Ставровского на кафедре. По этим причинам я не сомневался, что мои экзамены по всеобщей и русской истории превратятся в некое состязание. К счастью, противник мой оказался из не очень сильных. Древнюю историю я сдал еще при Шульгине; из новой мне попался билет о Людовике святом. Рассказываю я чуть не с полчаса — Ставровский, не глядя на меня, только потирает переносицу. «Ну, а что ж вы самого главного не рассказали до сих пор?» вдруг перебивает он меня. Признаюсь, я стал в тупик: кажется все уж сдал по порядку, и вдруг от меня

требуют самого главного! – «А историю Тристана забыли?» с торжествующим видом решил мое недоумение Ставровский. Я только переглянулся с Н.Х. Бунге, находившимся ассистентом на экзамене, и по язвительной улыбке на его лице понял, что мне поставят кандидатский бал. Очевидно Тристан дал холостой выстрел.

С русской историей дело вышло круче. Я не был ни на одной лекции по этому предмету и решительно не знал, что из него делал Ставровский. Товарищи говорили, что они сильно напирает на археологию, что он сам производил какие-то раскопки под Киевом и даже поднес однажды бывшему генерал-губернатору Бибикову какой-то котелок с древностями, сохранявшийся с тех пор в университетском музее и называемый студентами «Бибиковским горшком.» Все это мало меня успокаивало, тем более что русской историей я занимался гораздо меньше чем всеобщей, и уж в археологии вовсе не был силен. А на экзамене, точно на смех, попадается мне билет: «культурное состояние Руси в удельном периоде». Ставровский как увидал, так и повесе-

лел... Ну, пришлось и о Бибиковском горшке поговорить... Ассистентом, на беду, был профессор русской словесности Селин, на благоволение которого я никак не мог рассчитывать. Поставили они мне вдвоем 3 (высший, кандидатский бал был 4). Помощью такой отметки из главного предмета со мной было бы совсем покончено, потому что не получивший кандидатской степени разумеется не мог бы выступить претендентом на кафедру – но факультет взглянул на дело иначе, и пригласил Ставровского переправить отметку.

Тем, однако, еще не кончились мои состязания с Ставровским. В виду только что утвержденного нового устава, я предположил тотчас по окончании курса искать приват-доцентуры. Надо было подать *pro venia legendi*. Шульгин, продолжавший из своего уединения интересоваться университетскими делами, посоветовал мне, не затевая ничего нового, представить просто кандидатское сочинение, благо оно было напечатано. Я послушался, хоть работа эта казалась мне мало достойною. Она представляла, во всяком случае, двоякую выгоду – была готова, и притом относи-

лась к эпохе, которую я наиболее занимался, следовательно защита на диспуте представлялась мне делом обеспеченным. Ставровский, назначенный в числе оппонентов, тем не менее заранее торжествовал, рассказывал что у него приготовлено более ста возражений, что он истребит меня с корнем. В результате вышел такой скандал, какого вероятно еще никогда не было ни на одном диспуте. Чуть не весь город собрался в университетскую залу. Ставровский начал напоминанием, что университет носит имя «императорского», и что поэтому защищаемые в нем диссертации обязаны быть безукоризненны. Неожиданное предисловие это сразу озадачило публику... Затем почтенный оппонент мой развернул тетрадь с обещанными в числе более 100 возражениями. Но, Боже мой, что это были за возражения! Например, прочитывает он из цитируемой мною книги немецкую фразу и доказывает что я ее совсем не так перевел. Действительно, между немецкой фразой и моей нет ничего общего. Все недоумевают, я сам ничего не понимаю... Попечитель, покойный сенатор Витте, предполагает что у

нас были разные издания немецкой книги; берет ее у Ставровского, берет у меня – оказывается совершенно одно и то же. Тогда я прочитываю по-немецки ту фразу на которую ссылаюсь – перевод выходит совершенно верен. Вся штука в том, что Ставровский взял на указанной мною странице немецкого автора первую попавшуюся ему фразу, и вообразил, что это именно та фраза, которую я цитирую в русском переводе. По зале пробегает сдержанный хохот, Ставровский быстро переворачивает листок и читает дальше. Праздничное настроение публики все растет, диспут принимает характер совершенно несвойственный академическому торжеству. Наконец Ставровский догадывается, что надо бросить свою тетрадку, и уступает очередь второму оппоненту.

А в конце концов, более чем благополучный исход диспута ни к чему не привел. Я читал лекции всего один семестр. По новому уставу, политическая экономия отнесена была к курсу юридических наук, и таким образом Н.Х. Бунге выбыл из нашего факультета. С этой переменой факультет можно сказать

рассыпался, поступив в полную власть Селина и Ставровского. Мне за мои лекции не назначили никакого вознаграждения, не признали их обязательными для студентов и отвели для них такой час, когда все стремятся обедать. Со всеми этими условиями я помирился бы, потому что аудитория моя все-таки была полна, но вопрос для меня заключался в том – каким же образом я буду держать магистерский экзамен при таком составе факультета? Очевидно судьба моя совершенно была в руках Ставровского. Ехать в другой университетский город мне не хотелось, да и ученая служба, при ближайшем знакомстве с местным профессорским персоналом, перестала мне нравиться – и я принял приглашение генерал-губернатора Анненкова разделить с Шульгиным труды по редакции «Киевлянина».

С этими воспоминаниями я однако зашел слишком вперед. Мне надо снова возвратиться к первым годам моего студенчества, чтоб сказать о третьем профессоре-историке, П.В. Павлове.

Имя Платона Васильевича в начале 60-х го-

дов, т.е. с переездом его в Петербург, сделалось очень известно. Но в Киеве, и в особенности между студентами, он еще раньше пользовался громадною популярностью. Его любили, ему поклонялись, его именем клялись. Он соединял в себе репутацию основательного ученого с ореолом носителя так называемых «лучших идей», призванного руководить молодым поколением в его стремлении к общественному и нравственному идеалу. В то время, т.е. в 1859 году, когда я поступил в университет, роль эта была довольно новая. Мои товарищи были, так сказать, полны Павловым. Понятно, с каким нетерпением ждал я увидеть и услышать его. Громадная, едва ли не самая большая во всем университете, аудитория была битком набита. Сошлись разумеется не одни только филологи и юристы, для которых читалась русская история – сошлись студенты всех факультетов и всех курсов, поляки, хохлы, жидаы – в особенности жидаы. Позади кафедры, у стены, в проходе, густо теснились студенты и посторонние лица, устроившиеся кое-как на натасканных отовсюду скамейках. Сторож Данилка,

маленький, плутоватенький солдатенок, весь сиял, точно это был его собственный праздник. Наконец профессор появился. Это был среднего роста человек, очень симпатичной, даже красивой наружности, с застенчивым румянцем на лице и прекрасными блистающими глазами. Робко пробираясь в толпе, вошел он на кафедру, и лекция началась. С этой самой минуты возбужденное состояние, в котором я находился, сразу упало. Я был неприятно разочарован. Профессор, во-первых, был совершенно лишен дара слова. Речь его туго тянулась, останавливаясь подолгу после каждого знака препинания, точно он диктовал плохо пишущему классу. Очевидно, содержание лекции было усвоено профессором лишь в главных чертах, и он уже на кафедре, с большим трудом, искал выражения своей мысли. Во-вторых, самая мысль профессора производила очень смутное впечатление. Перед нами происходили какие-то потуги, искание чего то еще не уяснившегося самому профессору, блуждание в какой то новой местности, с отступлениями, с возвращениями назад. Никакого отношения к русской истории

лекция не имела. Она составляла введение к так-называемой «физиологии общества». Это была попытка систематизировать в научном духе разрозненные положения позитивизма, клочки из антропологии, отголоски еще не определившегося учения о связи истории с естествознанием. Мне показалось, что профессор куда то сбился, где то завяз... Тем не менее я аккуратно посещал его лекции в течение всего семестра – и с сожалением должен сказать, что первоначальное впечатление мое не изменилось. Я ни разу не услышал ни одного слова, относящегося к предмету курса. Продолжалась все та же «физиология общества» вперемежку с антропологией и археологией, все то же тягучее вымучивание недающихся фраз. Притом профессор ужасно конфузился, или волновался, в глазах его часто стояли слезы.

Существенная разница между впечатлением, производимым Платоном Васильевичем, и его установившейся гораздо раньше репутацией, долго приводила меня в недоумение. Впоследствии, она для меня объяснилась. Почтенный профессор принадлежал к катего-

рии крайне и мучительно увлекающихся людей. Он перед тем только что совершил продолжительную поездку за границу, и эта поездка отчасти сбила его с толку. Он пристрастился к археологии и истории искусства, волновался итальянскими и готическими памятниками, всем тем, что ему открыли европейские музеи. Вкус к этой новой области настолько овладел им, что совершенно оттеснил прежние интересы. Притом, ум П.В. Павлова был из тех, которые не удовлетворяются специальным знанием, которые вечно тревожатся потребностью вместить в себе «все человеческое». Отсюда постоянное блуждание в общем и безграничном, чрезмерная отзывчивость на вопросы жизни, беспокойная жажда большой и еще не определившейся роли. Натура высоко-симпатичная и глубоко-несчастливая, как мне казалось...

Я однако остался при том убеждении, что несмотря на свои обширные познания и несомненную даровитость, Платон Васильевич был обязан своей громадной популярностью в университете не своим заслугам, как ученого и профессора, а своей роли носителя «луч-

ших идей» и руководителя молодежи. К сожалению, лично я не наблюдал его в этой роли – он при мне оставался в университете лишь три-четыре месяца – но я видел на своих старших товарищах, что влияние его на них было громадное. В этом смысле он имел то же значение, как Грановский в Москве, как Белинский в литературных кружках. Он был носителем общих гуманных и прогрессивных идей, наследованных от них обоих. К сожалению, время и условия, среди которых пришлось действовать Платону Васильевичу, были совсем иные. На киевской почве эти общие идеи сталкивались с частными вопросами – польским, украинофильским и крестьянским. В 1859 году еще не видно было, в какой форме произойдет столкновение, но уже чувствовалась трудность пребывания в сфере общих идей. Мне, как человеку пришедшему в крае, это было довольно заметно, и может быть именно по этой-то причине мне постоянно казалось, что Платон Васильевич не имеет под ногами почвы.

В начале 1860 года уважаемый профессор покинул университет и переехал в Петербург,

куда давно уже стремился. Студенты точно осиротели... Редкие письма, получавшиеся от Платона Васильевича, прочитывались кажется каждым образованным человеком в городе... Потом дошли слухи, что он принужден покинуть Петербург, что в его судьбе произошла печальная перемена. Горе знавших его было неподдельное, искреннее... В настоящее время П.В. Павлов снова возвращен киевскому университету, где занимает кафедру истории искусства. Я не сомневаюсь, что новое поколение студентов относится к нему с тем же уважением, с теми же горячими симпатиями, с какими относились мы.

* * *

Рядом с почтенными именами Шульгина и П.В. Павлова должно занять свое законное место не менее почтенное имя Н.Х. Бунге. Действительный, серьезный, несколько сухой по натуре, несколько отзывавшийся немцем, он никогда не пользовался слишком горячими симпатиями студентов, но конечно между нами не было ни одного, который отказал бы ему в безусловном уважении. И как профессор, и как ректор, Николай Христианович был

неизменным представителем законности, справедливости, долга, серьезного отношения ко всякому серьезному делу. При всем том, он был очень живой человек, без всякой примеси педантизма и немецкой ограниченности, отзывчивый на все общественные и культурные интересы. Но главное – это был очень надежный человек, и знающие его были уверены, что всякое дело, зачинающееся при его участии, непременно будет поставлено и сделано хорошо, т.е. умно, дельно, справедливо и гуманно, с немецкою серьезностью и без русской страстности и распущенности. На экзамене, где он был ассистентом, достойный студент никогда не мог срезаться; в комиссии, где он был членом, необдуманное или страстное мнение никогда не могло восторжествовать. Одним словом, натура Николая Христиановича стояла как бы посредине между русскою и немецкою, заимствуя лучшее у той и другой. Такие люди редки и – необыкновенно полезны.

Как профессор, Николай Христианович очень заботился о том чтоб заставить студентов заниматься как следует. Его считали тре-

бовательным, его экзамен на многих наводил страх. Действительно, плохой студент не мог рассчитывать получить у него кандидатский балл. Но за то, если студент занимался серьезно каким-нибудь другим предметом, то мог быть уверен, что Николай Христианович не только не срежет его сам, но еще поддержит его перед факультетом. Не довольствуясь чтением лекций, отличавшихся всегда содержательностью и мастерским изложением, Н.Х. Бунге заставлял студентов делать извлечения из рекомендованных им авторов, и самый экзамен его заключался не столько в ответе на вопрос по программе, сколько в отчете о собственной работе экзаменуемого над литературой предмета.

Не без сожаления я должен сказать, что этим исчерпываются мои воспоминания о профессорах, составлявших действительное украшение историко-филологического факультета. Провинциальное положение университета было причиной, что пополнение убыли в наличном составе преподавателей совершалось весьма туго. П.В. Павлов выбыл когда я был еще на первом семестре, и затем

до самого окончания курса и еще несколько лет после, кафедра русской истории оставалась вакантною, не смотря на то, что именно в Киеве, в виду исключительных условий края и политических событий 1861-63 годов, кафедра эта имела большее значение, чем где либо. Шульгин тоже лет пять оставался незанятым, так что Ставровский пребывал единственным представителем исторической науки на факультете, имеющем специальное историческое отделение. Университет, т.е. совет, вступал, сколько мне известно, в переговоры и с Н.И. Костомаровым, и с г. Иловайским, и с тем же Шульгиным, и еще с кем-то, искал профессоров даже в недрах семинарий и духовных академий, но все это ни к чему не приводило. Разумеется, кроме провинциального положения университета и незавидного состава факультета, действовали тут еще и другие причины, и главным образом интриги в самом совете, где представителями факультетских интересов являлись такие «деятели науки», как Ставровский и А.И. Селин.

Последний, с переходом Н.Х. Бунге на юридический факультет, вошел в большую роль,

был избран деканом. Действительно, никто лучше его не мог представлять своей особой историко-филологический факультет в том жалком состоянии, в каком он очутился с 1863 года. Александр Иванович Селин преподавал историю русской словесности. Он вышел из московского университета, откуда вместе с сомнительным запасом учености вынес только благоговейное поклонение Шевыреву и некоторые смутные отголоски славянофильства. Личность совершенно бездарная, он хотел блистать красноречием и стяжать популярность среди студентов. Краснобайство его действительно не знало меры. Он сидел совершенным шутом на кафедре, кривлялся, скалил зубы, кидал нецензурные намеки псевдолиберального свойства, закатывал глаза – одним словом изображал актера, срывающего рукоплескания с александрийских верхов. По содержанию, лекции его были до невероятности скудны и жалки. В древнем периоде он придерживался буквально Шевырева, и это еще было сносно – по крайней мере студенты знали как готовиться к экзамену. Но с новой русской литературой он тво-

рил нечто невероятное. Вся фактическая часть отбрасывалась в сторону, с кафедры лилась разнузданная болтовня о Малороссии, о Польше, о Мицкевиче, о Погодине, декламировались стихи Хомякова, прочитывалась за чем-то «Небожественная комедия» Красинского, переведенная белыми стихами самим профессором. Огромное значение, придаваемое Селиным этому мистическому созданию польского поэта, объяснялось впрочем желанием привлечь в свою аудиторию поляков, составлявших большинство в университете. И действительно, студенты ломались в огромную аудиторию Александра Ивановича, воображавшего, что он устраивает примирение с поляками. В то время, т.е. перед 1863 годом, поляки в юго-западном крае действительно много говорили о примирении, о союзе польской и русской (т.е. украинофильской) молодежи. При общем настроении тогдашнего студенчества, при заметном развитии украинофильских тенденций, такой союз, хотя бы и временный, мог бы повлечь для университета важные и прискорбные последствия. Но предшествовавшая деятельность

попечителя округа, Н.И. Пирогова, имела между прочим то значение, что студенты-малороссы поняли глубокое различие между видами польской и украинофильской партий, и держались чрезвычайно недоверчиво.

При всем своем шутовстве и бездарности, Селин все таки производил впечатление, как будто живого человека, искавшего связи с молодежью, жившего в сфере политических и литературных интересов. В устах его эти интересы скорее профанировались, чем освящались, но все таки студенты чувствовали, что этот человек чего то ищет, чем то хочет жить. О прочих профессорах и этого нельзя было сказать. Печать провинциальности, старомодного и тупого гелертерства, а подчас и просто невежества, лежала на них таким толстым слоем, что из под него невозможно было что нибудь выкопать. Адьюнкт Селина, почтенный Андрей Иванович Линниченко, читавший теорию поэзии, был человек бесконечно добрый и честный, с хорошо направленными симпатиями, но кажется не особенно любивший свою специальность – по крайней мере, мало старавшийся побороть равно-

душие, обнаруживаемое студентами к его лекциям; его, если можно так выразиться, задала собственная скромность. Философия в мое время не читалась вовсе, психологию и логику мы слушали у профессора богословия, но существовал специалист по философии, Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий, автор неоконченного и очень плохого «Философского лексикона», читавший педагогику (после, с 1863 года, он читал историю философии, и не думаю чтоб с успехом). Я вспоминаю об этом почтенном профессоре с некоторым даже чувством умиления, как о чем то забавно-слабом, добродетельном и неменяемом. Точно сейчас вижу высокую, худощавую фигуру, во фраке с необычайно узкими рукавами и в сереньком жилете, с выражением какой то благодушной иронии на старческом лице. Для меня не было никакого сомнения, что дома Сильвестр Сильвестрович носит колпак. Лекций его я совсем не помню, вернее сказать из всего курса помню только одну фразу: говоря о том, что личность самого воспитателя имеет большое значение в деле воспитания, почтенный профессор выразился между прочим

таким образом: «педагог должен быть одет не с роскошеством, но с изяществом» – и при этом привстал на кафедре и с благодушной улыбкой оглянул свой собственный узенький фрак (мне почему то казалось, что в таких фраках расчетливые наследники должны класть в гроб опочивших родственников), свой серенький с мелким узорчиком жилет, и свой бисерный шнурок к часам... Помню еще, что перед экзаменом Сильвестра Сильвестровича я никак не мог достать его записок, и пошел совсем без приготовления. Мне попался первый вопрос: понятие о педагогике, как науке, и разделение ее на части. Пришлось излагать свое собственное понятие... Осилив кое-как этот пункт, я начал импровизировать в роде того, что так-как воспитание обнимает стороны физическую, умственную и нравственную, то сообразно тому и педагогика делится на три части... Тут почтеннейший Сильвестр Сильвестрович, слушавший меня с обычною благодушно-ироническою улыбкою, прервал замечанием: «это вы все рассказываете по здравому смыслу, а вы бы рассказали по моим запискам». Я выразил сомнение, мо-

жет ли существовать разногласие между здоровым смыслом и записками ученого профессора – и экзамен благополучно закончился.

Очень ученые люди были также профессора классической словесности, гг. Дёллен и Нейкирх. Обоих произвела дерптская почва. Дёллена я знал раньше, он был назначен Пироговым директором первой гимназии, и этот выбор, как все выборы Пирогова, был вполне удачен. Трудно представить себе более добросовестного, гуманного, симпатичного педагога. С сожалением, он оставался немцем, и я это испытывал не только в гимназии, но и в университете. Оба дерптские питомца были отличные филологи, но в таком узком смысле, до такой степени вне связи с русским образованием, с русской литературой, с русской молодежью, что произошло очень странное явление: в гимназии, где учителя латинского языка конечно гораздо меньше знали, где мы сами конечно меньше сознавали научное значение древних языков – мы присутствовали на уроках латинского учителя с гораздо большим интересом, чем на лекциях немец-

ких филологов. Помню, что когда уважаемый И.Я. Ростовцев (учитель киевской первой гимназии) рассказывал нам о жизни Салюстия, или Ливия, объяснял историческое и литературное значение «Катилинской войны» или комментариев Цезаря, мы слушали его положительно с наслаждением, в нас загоралось желание ближе войти в этот любопытный мир, полный таких ярких красок; а когда Дёлен или Нейкирх излагали курс литературы, или древностей, стараясь говорить настолько медленно, чтоб мы могли записать лекцию – весь интерес к предмету пропадал. И это происходило не потому, чтоб нас затрудняла латинская речь профессоров – они умели говорить очень понятно, – а потому что в их устах древность явилась может быть весьма близкою к их немецкому фатерланду, но весьма далекою от какой бы то ни было, хотя бы лишь литературной, связи с русской мыслью и жизнью.

* * *

В эпоху предшествовавшую восстанию, киевский университет был из самых многолюдных. Число студентов значительно переходило

ло за тысячу, тогда как после восстания сразу сократилось до 400 с чем то. Это дает понятие, как велико было число поляков. Польский язык преобладал. Не смотря на русское преподавание и русское управление, поляки держали себя в положении господствующей национальности и, надо прибавить, что такое положение опиралось не на одном только численном преобладании. Юго-западный край в то время был чисто польский край. Польское дворянство, богатое, образованное, сплоченное в солидарную массу, владело двумя третями поземельной собственности, дававшей отличный доход, и с помощью крепостного права держало в безусловной зависимости коренное русское население. Здесь, на благодатной почве Украины, отношения помещиков к крестьянам издавна приняли чисто феодальный характер. Поляки были завоеватели, утвердившие свое господство после продолжительной кровавой борьбы. От Хмельницкого до гайдамачины, край был постоянно заливаем кровью, и когда наконец русская национальность, истощенная, истерзанная, изверившаяся, отказалась от дальнейших бес-

плодных попыток освобождения – польское шляхетство налегло на нее с надругательством, с мстительным чувством врага, у которого еще болят раны, нанесенные поверженным ныне во прах противником. Разность не только племенная и сословная, но и вероисповедная, кровавые призраки крестьянских и казацких восстаний, необходимость пользоваться евреями, как посредствующей связью между шляхтой и народом – все это до такой степени обостряло отношения между помещиками и крестьянами, что здесь крепостное право получило характер, какого оно не имело нигде более, не только на Руси, но и в Западной Европе. Помещики были не только собственниками земли и хлопков, они были политической силой, стоявшей военным лагерем в завоеванной стране, действовавшей не только во имя своих частных, экономических интересов, но и во имя идеи польского господства. Понятно, что из сферы крепостного права эти воззрения и отношения переносились вообще на все русское население края. На чиновников, из которых только и состоял русский городской элемент, поляки смотрели

презрительно. Лытя местным административным иерархам, они в то же время считали себя людьми лучшего общества, представителями аристократического начала, европеизма, культуры. Хуже всего при этом было то, что многия лица высшей местной администрации разделяли тот же взгляд, и по аристократической тенденции считали себя ближе к польскому магнату, чем к русскому офицеру, или чиновнику. Эти администраторы, хотя бы их гербы не восходили далее минувшего царствования, старались всячески показать, что только обязанности службы заставляют их действовать в так называемых «русских видах», но что их личные сочувствия, как людей «хорошего общества», принадлежат польской аристократии. С особенною решительностью высказывались в этом смысле административные дамы, перенесшие с собою на политическую почву юго-западного края кисейные идеи петербургского или московского бомонда. Не трудно понять, как эти русские люди «хорошего общества» питали польскую заносчивость и брезгливое отношение поляков ко всему русскому.

В сороковых годах, Киев сделался главным центром украинофильства. Это была еще очень молодая, неорганизованная сила, выступившая не столько в отпор польской идее, сколько во имя общих освободительных начал, общего протеста против государственной централизации. Последнее значение определялось тем яснее, что русская власть относилась к украинофилам очень подозрительно и строго. В конце пятидесятых годов, обе идеи, польская и украинофильская, стояли лицом друг против друга, под общей опалой власти; последняя считалась даже опальнее, потому что была вполне демократическая, и не имела за собою сочувствия дам хорошего общества. В виду уже сильно обнаруживавшегося политического брожения, взаимное отношение обеих партий получало существенную важность. Если б украинофилы дали увлечь себя полякам, восстание разыгралось бы в несравненно больших размерах, могло бы иметь более серьезный, во всяком случае более кровавый исход. Первый, кто вполне понял истинное положение дел в крае, был человек посторонний, приезжий, одинаково ма-

ло знавший как поляков, так и хохломанов – Николай Иванович Пирогов.

Я был еще в гимназии, когда его перевели из Одессы в Киев, попечителем учебного округа. Дать ход человеку такой глубокой образованности, таких свежих и гуманных взглядов, казалось очень серьезной мерой. Я думаю, что это была лишь полумера. Пирогов до такой степени не походил ни на официальных педагогов, ни на иерархов учебной и иной администрации, с которых крымская война сорвала маски, что его надо было или вовсе не трогать, или дать ему назначение в Петербурге, где его деятельностью обозначилась бы полный перелом во взглядах на учебное дело, где он служил бы точкою исхода нового движения. В провинции деятельность его получила очень ограниченное значение. Он отличался от других попечителей, но именно потому что он действовал в Одессе, или в Киеве, никто из этих других попечителей не считал возможным подражать ему. На него так и взглянули – как на нечто исключительное, и разве что любопытное, но не более.

Появление Николая Ивановича в Киеве

было сигналом борьбы новых идей со старым режимом, поколебленным, но еще не снесенным крымской войной. С дымящихся развалин Севастополя он нес с собою тот новый дух, который так оживил русское общество в конце 50-х годов;— дух реформы, гуманности, культурности. Мы в нем встречали «нового человека», глубоко-образованного, ненавидящего рутину, преданного смыслу, а не форме, человека, который на своем важном poste не хотел быть сановником, не хотел обращать внимания на обязательный ритуал, хотел делать только одно настоящее дело, делать его по убеждению, от сердца, как у нас делают только одни личные дела. Помню, как всех поражала его простота обращения, его неограниченная доступность, его совсем не официальная манера держать себя с генерал-губернатором, его привычка являться в университет в пальто с заложенными в рукава руками... Мы тотчас поняли, что в Николае Ивановиче надо искать человека, а не сановника, и как горячо полюбили его все у кого в мысли и в сердце жило нечто порядочное — это высказалось на его проводах, обратив-

шихся в высоко-знаменательное событие для целого края...

В университете время управления Пирогова совпало с началом студентских волнений. Я считаю это большим благополучием для университетской молодежи, т.е. русской молодежи, потому что Пирогов, как уже упомянуто выше, сразу разгадал настоящую подкладку этих волнений и разъяснил местному обществу политическое положение дела. Он, и притом только он один, сразу понял, что русское государство имеет врага лишь в польской партии, что украинофильство не только не опасно ему, но при исключительных условиях места и времени даже может сослужить ему службу. И вот для всех способных ясно понимать вещи, тотчас определилась система Пирогова: не давить украинофильскую тенденцию, а взять ее в руки, сделать из нее опору русской идеи в борьбе с польскою, предупредить возможность союза обеих партий, указать украинофилам общую опасность. В этих видах Пирогов не только допускал студентские сходки, депутации, адреса и т.д., но он так сказать сам вошел в движение, чтоб

овладеть им и направить в противоположную от польской пропаганды сторону. Высшая местная администрация не понимала планов Пирогова, как не понимала его манеры держать себя, его сознания человека под мундиром четвертого класса; начались неудовольствия, интриги, и величайший из русских педагогов был отозван от своей высокой миссии, в самое трудное для края время. Но то, что уже было им сделано, принесло плоды: союз украинофилов с поляками был предупрежден, и ни один из русских студентов киевского университета не ушел в восстание. Этим результатом край был обязан исключительно Пирогову.

Я был очевидцем, как с отъездом Пирогова из Киева оживилась польская пропаганда, и преобладание польского элемента в университете сделалось заметнее чем прежде. Поляки, вообще очень проницательные в политике, давно разгадали в Николае Ивановиче самого опасного своего противника; да и кроме того, присутствие в крае такого крупного русского человека, такого блестящего представителя русской национальности, было для них

очень стеснительно. Я уверен, что со временем обнаружится очень значительная роль польского влияния в обширной интриге, свергнувшей Пирогова.

Подъем польского элемента в университете с 1861 года стал особенно заметен благодаря тому, что как раз в это время была отменена студентская форма. Явились тотчас национальные костюмы, под которыми отличать поляка от малоросса было гораздо легче, чем под форменными сюртуками. Вид аудиторий и коридоров совершенно изменился. Прежде, между студентами, бросались в глаза молодые люди достаточных семейств, одевавшиеся у лучшего городского портного, умевшие в своей форменной одежде обнаружить щегольство и претензии на светскость. Поляки, сыновья богатых местных помещиков, особенно старались отличаться аристократической внешностью и манерами. С отменой формы все эти господа куда-то исчезли. Отчасти их унесли быстро назревавшие в Варшаве события, так как большинству из них предстояло играть видную роль в предстоявшей, по существу своему чисто аристократической

революции; отчасти, может быть, они были запуганы преобладающей массой серых и рыжих свиток, чамарок, смазных сапогов и лохматых голов, наполнивших аудитории вслед за отменой формы. Университет демократизировался как бы по мановению волшебного жезла – и не по одному только внешнему виду. В польской партии, державшейся до сих пор неизменно самых непримиримых шляхетских тенденций, обнаружилось замечательное явление: горсть молодежи, сблизившись с украинофилами, сумела отрешиться от этих тенденций и выступила с радикально-демократической программой, оскорбившей самым чувствительным образом старую польскую партию. Во главе отщепенцев стоял студент Рыльский, очень энергичная и интересная личность, одна из тех личностей, которые как будто нарочно созданы для того, чтоб вобрать в себя что-то новое, еще незаметное для других, и дать ему форму. Не знаю, какая судьба постигла впоследствии этого замечательного человека – говорили, что он принял православие и женился на простой казачке, – но роль его в киевском

университете в 1861-63 гг. была очень влиятельная: он как-бы продолжал дело, похищенное из рук Пирогова. Ненависть к нему поляков была беспредельная; рассказывали, что его хотели убить. Энергия, с какой он изобличал шляхетскую подкладку зачинавшегося движения, без сомнения не мало содействовала тому, что с 1861 года взаимные отношения поляков и русских в стенах университета приняли чрезвычайно острый характер. Дело доходило до угроз варфоломеевской ночью, и я помню, что мы одно время принимали серьезные меры предосторожности, собирались на ночь большими группами, и баррикадировали двери и окна... В аудиториях, в сборной и читальной залах, поляки и русские держались, как два враждующие лагеря; готовилась борьба за обладание университетом, противники косились друг на друга, выжидая событий...

С конца 1862 года университет стал быстро пустеть. Еще раньше, по-одиночке, поляки начали куда-то исчезать; перед зимними каникулами дезертирство усилилось, а после нового года большинство поляков не возвра-

тилось. Рыльский и украинофилы, оставшись на покинутых позициях, торжествовали.

Близ здания университета находился большой, известный всему городу манеж ветерана старых польских войск, Ольшанского. Если не ошибаюсь, он преподавал верховую езду казеннокоштным студентам-медикам, готовившимся на должности военных врачей.

Он был любимцем польской аристократической молодежи, сходявшей с ума от его старо-уланских, длинных белых усов и восторженных рассказов о восстании 1830 года. В конце апреля, или в начале мая, в чудную весеннюю ночь, небольшие группы всадников выехали одни за другими из ворот манежа и направились мимо университета на житомирское шоссе. За Триумфальными воротами всадники остановились, поджидая товарищей и строясь в походную конную колонну. Это были запоздалые жертвы польской идеи, юноши и мальчики, студенты и гимназисты, сформировавшие единственную, целиком выступившую из Киева конную банду.

В доме моего отца стояли на постое драгуны. На рассвете я услышал, что они седлают

коней. Затем их серые силуэты, в походной форме, тихо промелькнули мимо моих окон. Я оделся, вышел на улицу и узнал, что ночью выступила из города банда, и что эскадрон драгун и казачья сотня пущены вслед за ней. Я бегом вернулся домой, велел закладывать лошадей, и полчаса спустя догнал наш отряд.

В 14 верстах от города, у д. Борщаговки, банда была настигнута. Казаки обскакали ее с двух сторон, драгуны завязали перестрелку. Минут двадцать пули свистали, ломая пушистые ветви ив; затем импровизированные польские кавалеристы стали поодиночке прорываться сквозь казачью цепь. Крестьяне собрались со всех сторон ловить их. Один драгун и двое казаков были убиты; их потом с печальной торжественностью похоронили в Киеве.

Я в эти дни сдавал свои последние университетские экзамены. Школьные года кончились...

*В. Авсеенко. «Исторический вестник»,
№ 4, 1881*